

Очередная весна застала всех такими же, казалось, какими были все в прошлую, — застала всякого при своём. Одни, может, деревья только на вершок подросли за минувший год; но разброд, но рассеянная тоска её, себя не понимающая, развлечённая новостями жизни отовсюду, никого опять не обошла, хоть краешком, а задела, поселковую старуху Машку тоже. Молоденькой когда-то изнасилованная и с тех пор не совсем в своём уме, любила она бродить окрестностью по любой погоде, как-то всякий раз неожиданно встречаясь, в самых неожиданных местах; брела и теперь, подолом юбки цепляя густую весеннюю грязь и обшарпанный, полустоптаный вдоль палисадников кленовый подгон. Кто-то по случаю Пасхи успел с утра поднести ей стаканчик красненького; и вот брела она, иногда останавливалась внезапно, застигнутая какой-то, может быть, мыслью, и так долгую стояла минуту,

другую, на что-то никому вокруг не ведомое решаясь. И трогалась, наконец, и сворачивала с тропки на только что из-под снега вышедшую грязную, ещё не опомнившуюся мураву — обходя что-то возникшее перед ней и оглядываясь, как обходят нехорошее. Обходила, опять выбиралась на протоптанное и, освободясь, заводила низким, хриплым, полоумной откровенностью надсаженным голосом:

*Виноват-та ли я,
что мой голос дрожал,
Когда пела я песню любви...*

Толстая, телом по-волчьи малоподвижная, нелепая, безумная — поёт...

Ею выведенный на воздух, к садовой скамейке под облезлыми наличниками больной брат, давний тоже старик, с которым теперь она проживала после смерти жены его и младших двух сестёр, слушал её дребезжащий где-то уже за соседскими дворами голос и равнодушно думал: и тебя переживёт. Как-то выжила вот она: ведь не скажешь, что сумела, где уж... так, при сёстрах перебилась, с лебеды на жмых, да и времена для дураков были не в пример легче. Пережила, тягуче думал старик, глядя, как стремительно бежит по улице, по всему её обустрою домодельному перемежаемый облачными холодными тенями свет, под ноги глаза переводил, на листопадную мёртвую прель, на их полубродячего

старого, с вечно поджатым задом пёсика, испорченного ему не нужной свободой: глядишь, лучше многих иных прожила.

А неприглядное, когда б не солнце иногда, апрельское межвременье, голое и ветренное, уступало понемногу дням потеплее, скоротечным в хлопотах неделям, горьковатому, словно с осени оттаявшему садовому дымку, гари весенней по утрам, блаженству затишков, уже вон и трава полезла из сырой и холодной, тяжёлой ещё земли, — в себя отступало межвременье, в таившееся где-то внутри всего сущего изжитое. В глубоком после затяжного ненастья, пронзительно синем промеж облаков небе шумели вразброд и тихо светлые, соками отяжелённые тополя над недалёким отсюда кладбищем, над его крестами, притонувшими в старой траве, пошатнувшимися; неровный ветер набухшие ветви качал, расцеплял и снова сцеплял, путал, и в них топырили неловкие крылья, чтоб не упасть, и каркали сипло, сладострастно вороны — в хриплом крике соития исходя, новых плода... Отстраивалось всё, очищалось, лишь на западном небосклоне висело всегда низкое, дымное, ничем с горизонта не устранимое серое облако недвижимое — там город был.

Старик стоял, худыми выболевшими руками уцепившись, как за отымаемое, за тёмные пропревшие штакетины, сгорбясь и как-то осторожно, неестественно расставив ноги, смотрел, и его

голубоватой водицы глаза немного растеряны и беспомощны, младенчески беспамятны были — столько грубого перевидавшие, теперь детские совсем глаза. Тень сверху набежала, холодом накрыв, молодой ветер взнял и растревожил поселковые сады, зашумел веселей, рьяней; темней и заметней оттого стали взбухшие, а то и лопнувшие уже почки, тревожней даль — но тут же и солнце озарило, пригрело собою всё, примирило. Брякнул калиткой сосед, суетливый малость, голосистый мужик из послевоенных, заторопился мимо на дорогу — нынче все торопятся, даром что Пасха; на ходу оглянулся, задел взглядом, весело крикнул:

— Тяжко, дед?!

И старик, боясь с ответом запоздать, закивал с благодарной поспешностью, затряс головой:

— Тяжко, это... как не жил.

И долго и с бессмысленной радостью смотрел вслед ему, как тот увалисто и споро одолевает промоины улицы, её размешанную тракторами грязь, дорожную глину, — туда торопился сосед, где сразу же за кладбищем светлым прогалом открывалось, жаворонками ликовало первовесеннее, ни колесом ещё, ни ногою не опробованное и старику всю жизнь чужое поле.

Ему тяжело было и тревожно как никогда; и с забытой на лице угодливостью глядя вослед соседу, которого он никогда-то не любил, а теперь ненавидел старческой бессильной ненавистью,

он едва не заплакал, отчего — сам не знал. Не весна только, как ни тяжка бывает она порой старикам, и зависть к молодым этим, в литой хлябающей резине сапогов, ногам, которым всё пока ни почём, — нет, не только. Обидно было, вот что; но что она значила, эта обида, и откуда она была, он понять уже не мог.

Он ненавидел соседа с этим его чистым, глубокого тенора голосом, каким бы петь, а тот матершинник первый в посёлке — и не за материки, конечно, и голос этот залиvisto-гневный, как у хорошей гончей, слушать который хочется, так он беззлобен и от чистого сердца, так легкосердечен, что другой усмехнётся лишь, за слышав. Не за то лишь, что года полтора ли, два назад тот взялся с женой своей, непрошенные, помогать им, больному да убогой... что дровишки, мать-перемать, станция дала, перевезём, а пилить их кто будет, вагонные эти стойки, — собес? Дядя сраный из Сызрани? Они, заботники хреновы, подумали?! «А ты сюда не ходи, — отвел он ему тогда со спокойной злобой. — У тебя что, дел своих мало? Так что, это, давай... по холодку». Сосед изумлённо глянул, сморгнул мальчишескими круглыми, ещё ничему-то не внимающими глазами и только крикнул: «Н-ну, дед...» И дней через пять, колготной, зачатый стосковавшимся солдатским семенем, как ни в чём не бывало пластал своей мотопилой на заднем дворе уже сваленные стойки эти и

бросовый всякий горбыль, жена его и Машка сносили; и чокался на кухне с ним своей, с собою же принесённой самогонкой — с устатку, про плен расспрашивал. А он было погордился даже про себя ответом тем своим — как на учёнь! — но подвалила осень, с нею ранняя, как назло, зима и почти обезножила, серой мохнатой изморозью затянула, снегом залепила окна, заперла. Но нужда подступила горькая и бессильная, какую он ещё не знал... Детей раскидало, далеки были и по-отцовски сухи сердцем, а младшая хоть в городе жила, рядом, но при муже-пьянчужке ей самой до себя было, — остались только соседи, они одни. И, значит, оставалось дотерпеть, дожить. Дотерпеть, сестру по-людски тем же соседям оставить, чтоб не кололи глаза потом братом, не поминали почём зря: как ни равнодушен к ней был всегда, брезглив, а жалко. К этому всё свелось теперь, к нужде, а нужду терпи да приговаривай: спасибочки, люди добрые... Век не умел, не привык — да и за что, спросить? — а вот теперь учись. Рот корёжит, а благодари.

Свелось теперь всё к непо-сильному избытку времени, к пустоте, ничем из окружавшего не восполнимой и потому вроде как понуждавшей что-то делать если не с ним, временем, то с самим собою, — но что? К ночным, почти мучительным ожиданиям дня, дней пустых, серо заглядывающих в давно не мытые окна, не выставлялись лет уж, наверное,

пять — нет, с лишним три года, как умерла жена, замазка уж в камень, растрескалась и повыхпала наполовину, только что ветер не свистит... ещё та, в которую он по неразумию подмешал крысиду от синиц, только потом дошло, что зря яд переводил, подыхали-то, уже наклевавшись. Такое бывало с ним, недолгоблывал думать и знал за собой это.

К дням свелось на продавленном диване среди покосившегося обихода, ветхого молчания дома: к замедленному, тяжёлому ходу столбчатых часов, купленных в шестьдесят третьем с рук по случаю премии, обречённо медлящему, иногда казалось — останавливающемуся почти, через силу одолевающему вязкую дрёму минут, тенёта получасий, судным то и дело боем извещавшему о смутном впереди конце всего, имевшего несчастье быть когда-то начатым. К уставшему от стариковских немочей, от запахов лекарств и машинной постной тюри померкшему воздуху их жилья, к машинным диковатым, где брала только, песням — когда не бубнила, разобиженная на всё, или не молчала тяжёлым, тупым, но бездонным каким-то молчанием скорбных. Сошлась жизнь на ожиданиях того, чего ждать не имело смысла, ибо само придёт и повторится много потом раз, будь то время тюри, лекарств или рассеянного меж своих дел участия забегавшей проведать соседки, — или теперь вот этих выходов ко двору, к подоконной скамье, на

мёртвую, осенними ещё дождями и заморозками сваливную в кошму траву под бесчувственными ногами, на острый холодный воздух обещанной ему когда-то, чудилось, но так обещаньем и оставшейся воли... оставшейся где-то, зависшей наподобие того облака над городом, вроде видишь, а подойди ближе — где оно?

И так тащилось, как, скажи, протаскивалось оно кем-то через него, это ему теперь ненужное, как свобода собаке, время, мутно застаивалось в ночах, что-то всё копя в себе равнодушно, — может, отымаемое у людей копя; и старик даже думал иногда, в некие минуты смиренья, что бывает куда как хуже, не в доме ж престарелых, не в государственном заперт призранье, о каком страхе впереди старости бежит... нет, не оставил Бог — хотя с Богом-то как раз он не был в ладах никогда, всегда враждовали; и вот на ничью сошла, насмарку вся вражда. Насмарку, потому что (пришла однажды ему и такая мысль — и, знал он, непростая) жизнь сама себе бог, и с какой ты стороны ни яришь, ни воюй, а всё против неё. И как понял, что непростая, так постарался тут же забыть и не вспоминать, от греха подальше.

Пёсик поднялся, с чего-то понюхал его ноги, подумал и побрёл к отмокревшему углу завалинки — своё дело сделать, ему завещанное, метку оставить. Всех при своём застало межвременье, бесповоротно сбывшемся, и если кто и переменялся за такой вроде

недолгий, нехотя переваливающий через кануны свои и сроки год, то это был, к позору своему, он, старик. К позору, к бабым пересудам наглым, уже и при нём самом: дескать, старость — она как вода, любой сухарь размочит... забыли? Забыли, суки, как одного взгляда боялись, угождали, чтоб на сорок первый не попасть разбезд; и вот не мог никак, будто не умел никогда, вытереть слёзку эту позора, одну-единственную, — не вытиралась... да он плакал ли когда? В последний-то раз?

Что-то обопнулось в нём об этот вопрос, или глаза это спотыкнулись на чём знакомом — но вопрос этот, вроде совсем ненужный, бездельный совершенно вопрос — когда? — стал вдруг перед ним; и со старчески поспешной, привычной уже угодливостью он покорился и ему — это когда?

Глина, да. Весна, такая ж мразь, да, транспорта никакого, а дорога из города отсыпана была тою же глиной материковой, красной, вот как посередь улицы сейчас, — в сорок девятом? Той же, чуть разве с гравием, трактора — и те в ней сиделись... они что, нарочно, что ль, эти дорожники? Вот кто враги, настоящие-то. Шёл домой, раза два пытался свернуть сигарку, закурить — так и не получилось, все пальцы на руках, как дверью прищемляли, выспрашивали, совсем распухли и посинели, как чужие стали пальцы. Тогда. Чёрт дёрнул расстегнуться, когда документы

доставал; и вот возвращался не-застёгнутым, полы телогрейки за-пахнув, на животе придерживая, — тогда... Вызывали потом, всё с тем же; во второй, что ли, раз он свой орден принёс, Славы третьей степени, две медали — показать, неужель не поймут? Следовательно, едва глянув, смахнул их в ящик стола, встал, вроде как с улыбкой подошёл; и ударил под дых, и сказал над ним, согнувшимся: хенде хох, мол, делал? Ну, и нечего... И опять: когда, с кем, явки ему, фамилии дай — не наигрался, сопляк... А он уж на станцию тогда устроился, работу спрашивали, не то что теперь, — а как такими руками работать? После третьего жена собрала ребятишек, пошла туда, к начальству, кричала, грозилась со всеми под поезд — отстали. А орден с концами. А глину как валили на дорогу, так и валят.

А этот живёт, как ничего не было, на халяву, день прошёл — и ладно. Помогать он взялся... гад! У самого толком двор не загорожен, палки какие-то, все с округи бродячие собаки через поместье бегают — нет, взялся он. Свет взялся переделать, сопля... прорву заткнуть. Вот-вот, такой же сопляк, всё им игрушки. А жизнь — не игрушка.

Прорву? Ну да, прорву. И хотя сам как-то не понял, что бы она значила, эта прорва, он опять сразу согласился, даже головой себе потряс: прорву, да. Согласиться было проще, чем вспомнить, он так и делал теперь: кто, говоришь? Какой Козолупин? А-а... ну да, ну да...

II

Дня теперь не было, чтобы он не выходил ко двору. Это когда-то, с путевого приходя хозяйства и помыв набитые шпалами ноги, глаз на люди не показывал без дела, хватало с него на работе; газет ли, книг не любил — врут все, задрёмывал на диване, слушая успокоительные звуки женой возни на кухне, мало о чём думая, и были это лучшие, может, минуты его жизни. Но едва ль не на другой день после выноса гроба её не вылежал и с тех пор больше в своём дворовом огорожке отсиживался, на чурбачке: курил, на машинки три грядки, как-то по-детски несуразно сделанные и соседскими беспризорными курами все как есть разрытые, глядел и на бурьяны кругом обнаглевшие, стеснившие даже и тропку, под застреху дровяного сарая вымахавшие, — часами сидел, как на вахте, последней работёнке своей, и как-то мысли даже не было ко всему этому руки приложить, не привык. Или пойти куда — ну хоть на речушку, окушков на уху потаскать ради забавы, ведь годами не бывал ни там, ни в леске за нею, где лог с родничком... Нет, не тянуло, все эти зимы-вёсны как-то мимо шли, сами собой, хотя кого не тронет радостный и в самую малую долю чуть тревожный чем-то запах оттаявшего мазута среди промасленных путей и ржавым суриком крашенных станционных строений, кого не позовёт присесть и закурить весенний затишек...

И не сказать, чтоб по людям заскучал, — нет, уж никак не скажешь; не в них было дело — что люди?.. Скотина безрогая, одно слово. В чём-то другом было, что не умещалось никак во дворике, сам он будто перестал вмещаться в нём, какие-то мысли появляться стали, несуразные, как машинки грядки, и одна из них не то что мысль, а боязнь вроде: всё казалось, что не спохватятся, не спросят — а где дед-то? Что ни говори, а боязно. Пусть бы за весь день и не прошёл никто по ней, по улице, не глянул, лишь бы сам он сидел вот тут, в наличности — и не во дворе где-то, а здесь, на скамье под окном, на подстеленной старой, мочой отдающей телогрейке, другого чего и не надо было. Другое даже мешало, отодвигало или вовсе заслоняло это, он чувствовал, главное — хоть те же как-то подсевшие, дожидавшиеся из дома напротив, от Махоткиных, свадьбы станционные бабы, вперевой судачившие о том, о чём ещё зимой, казалось, всласть пересудачили: на восьмом либо месяце невеста — не покроешь... Свадьба вывалилась, колченогая, выломилась, ничуть от восьмого или какого там месяца не скучней и не веселей, на пол-улицы растащилась, разголосилась, и он себя не то что ненужным здесь увидел, а так... А как бы вообще его тут нету. Оглянутся и не увидят — с людьми так. Хоть с кем, с парнишкой вот соседским теперь, принесшим в кульке газетном ватрушки, что ли, что-то печёное,

— такой же круглоглазый и, видать, настырный, собаку сразу стал, поганец, тормозить. Кулёк сунул, а сам к собаке, далась ему собака... Да всё-то у него крикливые, беспокойные: развёл, дурак, детей — пять ли, шесть, сразу не перечтёшь... кому, нищете? Только лыбится: чего ж мне, назад их загонять?.. Сглупа, всё сглупа и абы как, ни строю ни в чём, ни порядку, запасу на день нету, одна картошка, о деньгах что говорить: у них с пенсии пятёрки сшибают — до зарплаты!..

А мы не гляди что в годах, мы наперёд думали. Как самим, как детям. Наши дети в глаза глядеть боялись, вот так, чуть что — на цирлах, к ноге. И порядок в доме был, и в деньгах счёт с копейки начинали, а лучший кусок если — ему, кормильцу. Разговор короткий был, зато и выросли — не достать, оба начальники, в обиду себя не дадут. А эти...

Его аж болезнь какая-то брала, в ногах обессиливало, когда он думать о них начинал — о нём, соседе. А тот сам рассказывал, за язык никто не тянул — под осень ещё, со смехом: удумали же, стервецы! Своего ж гуся, мол, стащили и на берегу пирушку для всех... где, скажи, казан нашли?! И отговаривался, будто сам с ребятами гуся этого драл, своим высоким, бабьим почти голосом уговаривал старика: да мать-его! Их вон полдвора. А комбикорму я хватнул за трудоночь, нарастим. Не война, не последнее. Да и это... не чужого ж гуся — своо.

«Свово»... Расхлебай! Развёл, расшеперились ими... прорву ими заткнуть. А не заткнёшь, таки-ми-то. Хоть ты за всех там раздобришь, хоть пачками роди, охламонов-то. У нас по-другому было. Вон когда старшой его с этой спутался, как её... с молодойкой, рот не обсох, а упёрся, — смертным боем его бил, до двух раз, жена к воротам выбегала, мужиков звала, чтоб отняли. А эти что хотят, то творят — да дружные, сволота, не знаешь, чего ждать... у меня потворили бы. Не-ет, жизнь расхлебайством не возьмёшь.

И в очередной раз почти уверяя в этом — хотя, спросить, чем возьмёшь-то? — и в себе укрепясь, он опять с бессмысленным этим, с каких-то пор застрявшим на лице его заискиваньем поглядывал и на избу соседа, большую, но как-то недоустроенную, из разнолесья наспех собранную, с потрёпанными ставнями и некрашеным щелястым фронтоном, и на расплзшуюся, полуземляную уже кучу гравия под её окнами, муравой по краям поросшую... а во дворе грязь месят, всё никак не вымесят — ну, пусть. Сидели с пёсиком, ждали чего и не ждали, слушали воробыниую дребедень, на день ото дня густевшую глину дороги глядели, на клёны за нею, выкинувшие розовые махры, и на облако то над городом дальнее, серое, одно лишь среди всего не затронутое весной: пёсик, отроду безмянный, даже на проезжающие изредка телеги не лаял, разве когда от делать нечего трусил

боком на дорогу, нюхал след и, разочарованный, возвращался, ковылял под ноги опять, не отпуская поджатога зада... нет, всё при своём осталось на земле.

Козолупина он вспомнил, как не вспомнить, — хотя с памятью после январского полупаралича твориться стало совсем что-то непонятное, сам уж замечал. Мало того, что вчерашнее забываешь, но и то, что всегда хорошо помнил, как-то путаться начало друг с дружкой, Бог знает во что иной раз, неудобосказуемое... Вот и с Козолупиным: мужик был как мужик, председателем коммуны, потом колхоза... тюха с матюхой да Колупай с братом, а не коммуна была, но в святцы властью записан, поминают, и он поминает тоже: не Козолупин — что бы с ним, мальцом, стало? Хороший был мужик, зря его убили. Но зачем, скажи вот, лицо у них с немцем одно и то ж — с тем, какой не выдал: подошёл только, овчарку отодрал и кованым, с коротким голенищем сапогом наступил, дакнул так на грудь, аж в глазах почернело. А то б подвесили и в печь, побег — дело такое. Того охранника он запомнил, дня не было, чтоб не видел потом, как маршировали на работу, по указке выучили все до одного и пели: приезжай, отец родной, приезжай, товарищ Сталин, посмотреть, как мы живём... Брюхи от турнепса, как у баб, так и маршировали. А какой был лагерь, он и тогда не знал. Он в трёх был и ни одного названия не знал. Большой, с

трубами тоже... да кто тебе скажет, в каком ты? Это теперь чуть не хвалятся: Освенцим там, пятое-десятое... Дураки.

Но вот в ум не приходило столько лет, что на одно лицо они. Ведь как помнит обоих, по сей день как на карточках, за отца был, считай, Козолупин — а не различишь... Это при нём была Машка в посылных, ночь-полночь, а ты беги; а ссильничал приезжий тот, уполномоченный, говорун в очёчках — это уж убили Козолупина или нет? Не помнит. А Машка так и осталась, как рехнулась тогда. Сразу в город увезли, чтоб прикрыть, с месяца ли, два держали в больнице, даже сестрицам не показывали... собак, сказали, испугалась раскулаченных, их по ту пору правда много развелось, бегало. Так и боялась очкастых, как увидит — прямо дрожит вся, бежать кидается, и смех и грех. И когда в очёчках этого перевели из области в райком к ним секретарить (в белых бурках был, точно!), и тот все поставки тут завалил, обезлюженный через двор район не тянул даже по фуражу, взяли за хиршу умника — вот когда черёд пришёл! Разбираться прислали, и он одного военного чуть не весь вечер на улице прождал, промёрз на кочан — но дождался, добавил про Машку. Достал, наконец, добавил, хотя сопляком ещё был; а к сестре с того времени, не зная отчего, почувжал, как что отрезало, брезгливость осталась одна... и век бы с гадским тем племенем

не видаться, под карандаш не говорить — а как?

Это старик помнил, можно сказать, хорошо, бурки особенно; и как ему, в райком комсомола пристроенному из коммуны сироте, наган дали, дураку, — по тяжести в руке и потому ещё, что подумал: исправен ли, уж больно пообгёрлось вороненье, облысело... поля сторожить? Но нет, совсем не то, кой чёрт — поля?! На полях — с засадами, на лошадях, главное — увидеть, догнал и голыми руками бери, бабёшки больше, а мужики если, то доходяги, дак в одиночку все. А тут другое.

Тут встало в глазах, хоть разглядывай: чужой совсем райком, церковные скамьи, накурено, а на столе с дерматином продранном те самые наганы, и Клеймёнов, грубоносый, даже и усы это не скрадывают, в тяжёлом пальто до пят, по старшинству первым получает, подтирает слезу: «Узнаю революцию!..» Следом мордатый какой-то, молодой, все тогда молодыми были... да, было. Но и обманом не переставало быть, он знал, — и памяти, и времени самого... революции все эти их, резолюции, выработка с подтирками, сам он на подхвате, от Клейнмихеля не отходил, собакой глядел — что, не так? Так. Торфопроизводства, да.

Но это уж куда позднее; а сама его жизнь началась давно и тянулась так долго, будто прожил её не одну. Так разнилась сама в себе, что и сам он, кажется, не вот привыкал считать её, очередную,

своей — но всё это своя была, своя и одна.

Где-то она там начиналась, иссохшим днём двадцать первого, а может, двадцать второго года, лет пяти от роду, в чужом доме на хуторе-однодворке — в солончаковой белёсости окоёмной, в еле видных миражах, бесплодных облаках над нею, в пыли земли. Как несли его, мать на сельских могилках прикопав, тётка с дядей на закорках по очереди — чтоб отца у них подождал, ушедшего на заработки, может, за хлебом. И к вечеру того или какого иного дня сильно потемнело, он помнит, облака сбились, сгущились в злобную грозу — рвало кусты, небо раздирало, разваливало, и первая памятная в жизни его влага, вода небесная, плясала во дворе, пыль вздымая, выколачивая из земли её, накопившуюся, — и так и не выбила, прекратилась, сухого не пересилила гнёта воздуха, судьбы.

Не вернулся отец, пропал в вереницах молчаливых, невиданном разором и сухью разрозненных людей, бредущих недалёким большаком; оставил жить, не спрашивая, как ты тут будешь, с кем, не сказав, для чего вообще... И он до сих пор толком не знает этого, если уж на то пошло, не то что там сыновьям — себе не уяснив, кто он и зачем тут, на какой такой, спросить, предмет. Это на завалинке ты с другими такими ж бобы разводи, с дураками старыми; а себе ничего не ясно. Ни начал, считай, ни конца... ну, концов человеческих наглядился, знает.

Так, просветы какие-то случайные оттуда, бездельные совсем. Как сеяли, верней — как украдкой сунула тетка полгорстки зерна ему, на меже сидевшему под обессиливающим тёплым солнышком, и какая зелёная была и пресная трава. Ещё почему-то старые сани под овином помнились — может, лежал он в них часто или даже играл?..

Дядю не зря Оберушником прозвали, и хоть партийный вроде был, а кулачить чуть не первого взяли. Всё подобрали завистные глаза, даже самовар; и обошлось бы, может, без выселения, если б не тётка. Себя не помня от горя, схватила с подставки в углу — вместо божницы — вождя без плечей, его-то оставили, и со словами: а ты какую манду глядишь... пош-шёл тады со своим! — выкинула вслед уходящим, уносящим нажитое их. Этот самый бюст и не простили. Опомнились (как тётка Паша уж после войны говорила, вернувшись одна) за Сыктывкарком, так до конца и не научилась выговаривать. Оберушник тогда её чуть не убил; а сироту власть в последний момент прижалела, приписала к уездной коммуне, а то бы сгинул где-нибудь там, мёрло много. Козолупин озаботился, это с ним бывало... как же он Козолупина забыл?

Он и об этом вожде-то лишь от тётки узнал, уж после; но отчего так помнит страх свой перед ним, в переднем углу коммуны стоявшим тоже, в бывшем купеческом

подворье, где теперь склады? Лысый, безглазый, а верней — с выковырнутыми почему-то и оттого жутковатыми зрачками, никуда не глядящими, ничего кругом не видящими, кроме чего-то упорного своего, мертвячего... Потом как-то привык, как обвыкаются с покойником в доме, глядел на него смелее... в побелке, что ль? И раз, когда никого не было, дотянулся, с боязнью, а колупнул маленько сбоку — краска, там отбито было, а под ней что-то тёмное... Тёмной сама жизнь была, он уж и тогда о том догадывался, кажется, и боялся её не зря, она испугает. Ту первую зиму с Оберушником тогда прожили с потайным хлебным запасом; по ночам несколько раз приходили какие-то люди и пытались искать, дверь хотели выломать, схватить их и мучить, но Оберушник стрелял через неё, перестали. А раз утром, рассказывала еще тётка Паша, нашли под овином человека с железным самодельным щупом в сведённых руках, тётка узнала в нём сельского, всей округе известного учителя её, так заоченел, а человек был хороший, попа так не уважали, как его.

Дядя на руку не стеснялся, перепало и в коммуне, но уж не так: диковатого хуторского парнишку вроде как опасались почему-то, это он скоро уяснил и угрюмости потом с себя не съмал, так оно и пошло. Молодой был организм, в еде требовательный — вот беда. А поди заработай. Мотался от складов каких-то

к подводам, бегал под молчаливыми глазами людей, под матюки поощрительные старшего, по клуням всяким с обысками, куда ни пошлют. Паёк и спас. А командовать-то не умел: или молчал, или матерился, середки не получалось, поддакнуть толком — и то не мог; и уж зачислили, завидную обещая долю, на курсы трактористов, когда по оргнабору разрядка пришла, — да, на торфоразработки.

И по железу, напрямки прострелившему хмурые подблачные пространства, неприбранность мировую, старьё, через гудящие огромными переселеньями вокзалы, проверки, сквозь ночи осенние, холодные в сортирных запахах вагонов, с кочующей за окном низкой невнятной звездой твоей судьбы — вглубь всё далее, в плоть рыхлую страны, какую вроде б не знал в степном своём разброде стоячем и вот узнавал навсегда, такая она разная была и везде знакомая, опять голодная. И люди везде, люди — толпами, копошащейся среди привокзальных строений массою, то ли за отдалённостью времён молчаливой, то ли по другой какой причине... по другой, не покричишь, одним паровозам можно. Редко выдернется когда крик, плач детский, на какой привыкли уж не оглядываться, смирять привыкли, всею молчаливой массою навалившись, стаптывать, перестал что-либо значить крик. Нету крика, темно; мотает опять вагон, лязгает и скрежещет многотерпеливое русское железо, из

последних сил грохочет отчаянно над пустотами пути, над пропастями неведомыми, гибельными — в тебе грохочет на пределе, вот-вот оборвётся сердце, не вынесет... Выносит; качает и дёргает теплушку, несёт, укачивает, деревянным скрипом смаривает — и что-то по лицу... Хватнул — повод от недоуздка, голова лошадиная над загородкой, забыли уздечку снять, когда на станции выводили; а в углу дальнем, где трофей сложен в мешках и командирском ящике, огонёк коптилки вытягивает сквозняком, все спят, Николай Баринов сидит один, с сапогом опять возится... победили. Когда победили, кого — непонятно, но Николай — вот он, лицо серое от контузии, впалое, успело напоследок зацепить, но одет как надо, не отвык... он, браток. Финская?

Гудит не по горизонту уже, как в Оскомяках, — рядом... Оскомяки? Порой залетают, всех пугая, снаряды, калечат немилосердно лесок, разворачивают до камня глубокие снега, то мёрзлый подзол взмётывая, то болотную с ошмётками мха жижу; а мимо них всё идут танки, «бэтэшки», на ходу перестраиваясь, расползаясь в кривую на предполье нервную линию. И вскоре там, куда они без всякой артподготовки уходят, зверем выползает и всё накрывает резкий, удесятёрённый морозом грохот, пугающий землю сплошной нечеловеческий гул, от которого сыплется и сыплется тут, пластами срывается

на них с невысоких сосен снег. И следом посылают их, они идут раскатанным полем в старых, припорошенных, и совсем свежих воронках: кричат командиры, поталкивает в ноги земля, и всё ближе сумрачная та стена дыма и пыли подымается им навстречу, за первой же еловой зазубриной, подпираемая вразнобой чёрными столбами нефтяного, резинового ли чада.

Горят танки. И, сколько там видно в дыму, лежат люди, воронка на воронке, а меж них — люди; а немногие, кто на ногах, хоронятся за подбитыми машинами, переживая редкие уже разрывы, отбегают. Один совсем близкий танк, слепо рыская кормой, пятится по чему ни попало на них, идущих навстречь, заваливаясь на выбросах грунта, дёргаясь, — и он не может, не умеет ещё отвести глаза от гусениц его в крови и кале... И дым, и пыль торфяная, морозная, скрипящая на зубах, их укрывшая от солнца, от всего... какой Баринов? Не было там никакого Баринова. Да он кого там, спросить, знал? Баб они там узнали, снайперов — финских, у высоты «Офицерский домик» так прижали они — хоть под себя клади, такая ходила шуточка. Зато свои бабёнки принимали, не глядели, что лица побитые: без позиций воевали, считай, за день сколько раз мордой в наст ткнёшься, а он как наждак там, сволочь. Победили. Одежку Баринов уважал, собирал всякую: всё-то колготился, выменивал,

шил-перешивал — намёрзся, что говорить... вот откуда? Не было его там. Маракует сидит, угнулся, ночь не в ночь ему, как живой. Коптилка смаргивает, едва не гаснет: опять какой-то мост — над провальным чем-то, очередным, враскачку всё, вразнос идёт, того гляди с рельсов... очумели они там, что ли — гнать так?!

III

Вот он с кем, сосед, два сапога пара — с Колготой, связать бы да в одну воду.

Такой же шепутной, ходкий и на хайло раззявист был: где люди двумя словами — он десять... бабы, что-то бабье в них, таких. Позлей, конечно, спиной не оборачивайся. Кличка, что ли, или это фамилия такая — теперь никто не скажет. И наглый, из местных, возчиком при собственной лошади числился, а деревня где-то недалеко. Коноводил у мобилизованных, а как до дела доходить стало — смылся. Смыться хотел.

К нехорошему что-то шло там... тиф пошёл, вот что. И они, значит, при Клеймёнове, вроде уполномоченных. С правом применения кобурного оружия: леса кругом, самая глушь, а контингент ещё тот. Ни харча, ни фуражу, с сапогами то же самое — а на добычи, где торф рубили, воды чуть не по пояс. Сапоги тоже требовали. Скучковались, Клеймёнова за грудки, а подвозу никакого, район местный от себя

уж последнее отрывал. Дожили, орал в трубку Клейнмихель, весь напряжившись: у колхозов взять не можете — у своих!..

Зачем это всё было, он не знает... торф был нужен стране. Жизнь зачем-то была — и его, и других, кого ни возьми, хоть эта вот, поджатым пёсиком на молоденькой, из старья толком не выбравшейся травке, на земле, ничего-то не помнящей. Он вот теперь глядит — зачем? Всё равно забудется, как сроки пройдут, новых спроси, скажут — не было... А раз не было, к чему всё тогда? Вот и думай. И сейчас-то сам себе не хозяин: чего захочешь — не вспомнишь, а что и забыть бы пора уж — а оно нет, из головы не вышибешь никак... а потом? Что захотят, то и скажут потом, дураком назовут — и будешь дурак, на веки вечные. Вот возьми Козолупина — немец и немец. А какой он немец, ширинку забывал застегнуть. Какой вот герой такой? Лопатами порубали, а перед тем прощения перед миром велели просить. Просил, покался. Постой, Клейнмихеля это ж, лопатами. А тот не того... не из тех: свердловец я, говорит.

Неладно было, да. В бега пошли мобилизованные, а Клеймёнов, как на грех, на все гайки, чтоб и выработка ему. И не сказать, чтоб дурак, и умным не назовёшь. Рукодельный, всё тебе развинтит и свинтит, а как до дела — всё на сознательность, на мат. И его учил: не гнись. Когда видят, что гнёшься, — пиши

пропало. Дурак, само собой. Но и время-то. Как раз для таких было время — никакое. Никакого крепежу: говорят одно, а творят всё навыворот, что ни делай — всё не так, всё как-то по-особому надо, а спроси — никто не знает, как. Даже эти, в очках какие, на что уж язык подвешен, да только словами обосрут да ещё пригрозят: ты, мол, гляди. А куда глядеть-то?

Не просматривалось время. Вроде — вода, хоть до дна гляди, до той грозы небесной, разметавшей хуторский, младенческий его покой, пылью по дорогам понёсшей, катуном; вроде порой до гальки мелкой всякой разглядеть можно на дне — такое, чего и не было-то, казалось, никогда, не могло быть... а было. Дожди эти залили, проклятые, как раз под зиму. А их с десяток, может, всего на такую кодлу да охраны с отделение, а там узкоколейки ещё километров семь от станции, где перегружали, до добычи этой — угляди... До крови ноги сбивали по болотам за беглыми, по марухам, овражинам станционным: и вот вернулся как-то с платформой, а ему про Колготу. Доверенный шепнул один: ни его, ни лошади с грабаркой. Нарочно, мол, обошел всё — нигде...

Лишь один вёл просёлок с добычи — на станцию, но был на нём отводок к большаку, вёрст пять каких-нибудь, нехватишь на нём — всё, на тракте не догонишь, их четыре у неё ноги, у лошади. И Клеймёнова что-то не было,

пригрозившего: у кого ещё с отряда сбежит — тот заследом может, не простим... Отряды были, это он называл «милитаризировать рабочих»: утро-вечер с кликухой, без приказа никуда не могли.

И дал себе только портянки перемотать, думать спешил: не простит... кого с собой взять? Нет, совсем оголим, да и кто пойдёт? Не с их Колгота отряда, сволочь, — с его... Клеймёнов и назначил его к отряду транспортному: мол, полегче, возчики все на виду... Ах, сволочь!

Разъезженная дорога где болотистым березняком тянулась, в изреженном холодном тумане далеко видная, где прикрывалась ельником, начинала петлять, что ни поворот — застойные колдобины, раздавленный по обочинам подрост; а вот на старую заросшую просеку выбралась — развилка скоро. И вроде след колёсный, свежий, на мешанине других копыт и колёс, лаптей, немногих чётких сапог охраны... свежий, вон ещё моросью недавней, утренней не налит — он, больше некому. Вот на отводок свернул, и медлить нельзя никак: ближе к тракту повыше пойдёт, сосна, песок, там угонись... И спохватился, дошло: лошадь бы надо, дураку, лошадь — выпрячь у кого и верхом!..

То шёл, то бежал, задыхаясь и скользя, хватаясь за податливые маркие стволы берёзок, уже и неуверенный в себе, как только след определил, — как не он гнался, а за ним, и он бы сам затерялся в

лесном этом одичании осеннем, позднем, сам остался, лишь бы харч, и чтоб шумел над ним, расходясь поверху и все пути шумом высоким перекрывая, качался и скрипел об утраченном редкоствольный, болотом обессиленный лес...

Он нагнал грабарку, когда уж впереди сизел, выступал верхушками сосняк. Колгота не сразу его заметил, оплошал; а оглянувшись и увидев, растерялся, осёкся лицом — но тут же выругался злобно, как-то грязно даже для деревенского, успел нахвататься. И соскочил и, согнувшись, нахлёстывая лошадь вожжами, тяжело побежал в гору, за телегу держась и озираясь назад. И он побежал тоже, из последних сил, вытаскивая застрявший в рванине кармана наган и что-то крича, что-то приказывающее сорванным тонким голосом, Бог знает что, между ними метров, может, шестьдесят оставалось, не больше. И нажал спусковой крючок, не целясь, руку жёстко толкнуло проснувшимся железом, звука он не слышал, казалось, лишь пороховой вонью дохнуло в лицо, в рот, перехватило.

Он закричал опять, но Колгота не останавливался, совсем немного оставалось ему до верху, а там супесь, там лошадь хоть галопом пускай — уйдёт... Воздуха уже не было в лёгких, не было силы никакой в ногах, повымотала дорога, а подъём тот если помог, задержал, то лишь наполовину сократил это между ними сплошное уже, горку

подпиравшее болотце... стрелять? На бегу попытался направить скачущую с наганом руку, но зажимавшим голову Колготой виднелась, вся выкладывалась в упряжи лошадёнка его — нет, не в лошадь бы, не спустит начальство, каждая холка на счету, на великом... Он стал забирать разъезжавшимися ногами сколько можно вправо, мелкий кустарник хлестал, мешал; остановился, сделал, как милиционер учил, вдох, не получился вдох, и выстрелил опять — мимо. Метров если сорок было между ними, а то и меньше, но только что не падал он и знал, что в бегу ему не взять уже, не догнать... сука кулацкая, гад! А ещё паспорт выправить себе хотел, заработать — по паспорту лошади, кое-кто умудрялся тут делать так, чтоб в город потом, от деревни подальше, — чего разорялся тогда, воду мутил, гад?! Кроме Клейнмихеля кто б ему сделал, помог? Всех подвёл, сволочь, на кон поставил — ну, гляди!..

Что-то кричал и Колгота, матерился там, что ли, — и вот с лошадью своей поравнялся и вроде как обогнать хочет, укрыться за ней, нахлёстывать не забывая, уже на самом взёме почти... и он нажал, двинуло отдачей, но он вернул руку и, пьянея от сини пороховой и своей готовности, снова спустил крючок, звук шибанул и распался в вязком подсинённом воздухе — а того, на взгорке, как взащей толкнуло, ног не дав переставить, и свалило. Как шестом сбило — пулей неужто? — лошадь

захрапела и шарахнулась вбок, на вожжах волоча его, подворачивая грабарку, опрокидывая... и опрокинула, попятилась в перекошенных оглоблях, стала, всхрапывая. Стала, и он не сразу сдвинулся с места, глаз не сводя, ожидая всего. И нетерпимо, так, что в животе послабло, захотелось уйти; но пересилил себя, пошёл.

Колгота ещё жил, с хрипом дышал — минут десять ли, пятнадцать; а он, не зная, чем помочь, суетился... Вожжи, на руку им намотанные, перехлестнувшиеся, распутывал, кинулся потом телегу подымать, всё оглядываясь, как над уворованным, торопясь, — везти надо скорей, там помогут, должны... Лошадь заворачивая, придушенно крича на неё, кое-как сумел, рывком на колёса поставил, развернулся и подъехал, а он всё жил, до последнего. И уж когда решался, какую-никакую соломку в грязном от того торфа ящике грабарки всё перекладывая, разравнивая, повыше надо под голову, вот-вот... не захлебнулся бы, — что-то произошло за спиной. Оглянулся, подшагнул; помедлив, в запрокинутое заглянул, в остановившееся лицо ему — тот уже не дышал.

И вот не знал — почему, но ту свою суету, как руки всё оттирал от маркой берёсты (как, скажи, белёная она вся там была), никак оттереть не мог, он за позор считал, стыдобу какую. Что сопля был — само собой, но не в том одном состоял позор. Не в том, мало ли кто из нас кем ни был; а как

будто и всегда он, и сейчас вот тоже, нынешний, суетится всё, никак остановиться не может, как был перед жизнью, так и есть — сопляк, вот что в обиду...

В жестокую обиду, понял он. Ну, ежели ты так, то и я, знаешь, тоже... сам по себе тоже, вот так! Мальчика из меня делать. Вы с моё поживите, тогда топырьтесь! А то разлобанились на лёгкую жизнь... а не будет вам, не ждите. Вам ещё покажут, что почём, заведут на помочах, дураков. Заведут, вон что началось...

И струсил, потому что прорва глянула на него.

Серенький был денёк, потухший, и с утра ещё копилось что-то в нём такое, наслаивалось — облачной низкой пеленой, воздухом глухим, душившим даже свистки маневровых со станции, этим расползшимся по всей окрестности молчанием смутным, безвестьем, какое бывает разве что в голой степи... Она глянула, и он, сам не понимая почему, узнал: моя...

Глядела, приподняв каменные веки, нахохлившимися домишками села пристанционного; затоптанной кучкой гравия у соседского двора и колдобинами дороги, разбитой вконец и так и засохшей; небесным зевом прогала в кладбищенских тополях, несменяемым тем облаком, почти сплывшимся на горизонте с наволочью тяжёлой — там, над городом. Не чья-нибудь — его, им развороченная в какой-то стене ли, обороне ли, защитите земной, не понять; и он даже оглянулся — она ли? Она.

И за скамью ухватился, поплыло. Произошло что-то, но он хотел додумать. Ухватился, как за Клейнмихеля там или Козолупина хватался когда-то, по всякому случаю... что Клеймёнов? А ничего. Всякие там разбирательства не по нему были — «при попытке»? При попытке. Пальцем не дам тронуть, сказал. И когда у возчиков отымал его, уже полузабитого, над головами палил — не дам! Сам в лазарет успел свезти, на станцию, как началось...

Что там было, как — он, с продавленной грудной клеткой в бараке больничном лежавший пластом, так и не узнал толком. Солдат вызывали; а Клеймёнова так, да: в сортир спустили и лопатами штыковыми. В лазарет когда вёз его — хорохорился, бодрил: дура, мол, сам не понимаешь, что сделал. Ты человека из себя сделал, товарищ мне теперь — злей смотри!.. А у самого, что ль, простуда, толстый нос в платок суёт, трубит, усы потом долго вытирает, приглаживает, усы берёт... из рабочих, ну и работал бы себе. Нет, полез.

Нехорошим всё было, не тем. Бунтовня эта — одно; а ещё полным каким-то внутренним расстройством, разором — как на части его разняли и разбросали далеко, которые сам он теперь, казалось, собрать, снести опять в кучу уже был не в силах. А тут совсем, без пригляду валяясь, запсел, подхватил сыпняк; и вот затыкал спиной, собою всем дыру

какую-то всесветную, прореху, откуда непроглядно тёмным несёт, страхом... сам, сам набедил, и в нём ли самом эта дыра, в спёртом ли пространстве барачного бреда, то бубнящего, а то замолкающего враз, будто в чём застигнутого, — не понять. Бред разговаривал сам с собой, бунтовал, усовещал, в неразборчивое переходя или рождая внезапно ясные, невероятно правдивые слова свои, почти мысль; и опять хрипом боли и безумия толкался в низкий тёмный потолок барака в каплях повисших, ознобно дрожащих, тифозного конденсата, — а он, бессильным упиравшись сердцем, им противясь одним, обмирающим, пытается заткнуть прорву эту в себе, иначе конец тогда... чему конец? Он не знает. Всему, и это страшней, чем за себя.

Там мертвячья сгустилась нелюдская злоба, такой не могут знать люди и не должны, и он не знал никогда... не знал же! Он хотел как надо. Как все кругом люди, как велят они всей своей для чего-то собранной неумолимой силой, иначе не простят... где люди? Рядом где-то, но не здесь. Похрапывает кто-то или, может, хрипит; тянет палёной газетой цигарки и вместе сыростью болотной, весь насквозь он пропитался ею, шаркают старухины шаги, нянькины, — совсем рядом люди, а не знают. Не ведают; ложка чья-то деловито доскрёбывает миску и, облизанная, с кротким звяком в ней успокаивается — а

здесь, в нём самом надсадно день и ночь колёса грохочут, колотят по рельсам, то настигая обвалью, всё заполняя собой, а то в глухой унывный рокот переходя, безнадежный, и паровоз кричит, не переставая, под тёмным небом, день ли, ночь — домой зовёт... а где он, дом? — и никуда от этого не укрыться, не деться, как ни мечись.

Он затыкает, задыхается — а тьма, а злоба сквозь него уже ломит, колёсами напряживаемая, и уж вот-вот прорвётся, сомнёт земные эти звуки, грубые донельзя, какие-то корявые все, кривые, и самих людей этих, ничего-то над собой не чующих, захлестнёт и разметет тоже, погубит души... Захлестывает уже, гасит мерцающий где-то на краю сознания свет, даль обещанную — и ничего уж, кроме страха, нет, его самого нет, а одна тоска только, безвыходность.

IV

Не хотела тоска отпускать, держала где-то в своей мутной, вязкой во времени глубине — тяжёлая, по дому, какого не было... катун и есть, не встречают которого и не провожают, одни бараки, казармы немигающим без ставен оком глядят вослед: много тут вас... не ушёл ещё?

Ещё здесь. Ещё договаривает что-то остывающий, распавшийся на части, на просветы тишины многоглагольный бред, проборматывает никому уже не нужное —

перемолол всё в слабость, безответную, не желающую ни видеть ничего, ни слышать, не трогайте, зачем я вам?.. Перемолола болезнь; но где та радость недолгая, детски беспамятная, когда очнулся среди дня, впервые по-настоящему, и с пронзительной вдруг дальноркостью увидел в дальнее окошко: зима!.. Уже зима, скоротечные заряды снега время от времени, ветер, круговерть снежинок, изреженные тучи волонистые и отливающее холодом солнце меж них ныряет, летит, и стремительно меняется на всё свет, чередуясь со мглою... так летишь на самолёте сквозь облака, и порывами то мгла, то свет. Из Познани так летели. И счастье маленькое, только твоё, и твои худые руки, до смешного непослушные, ниточку не поймаешь из солдатского одеяла, ловил и тихонько смеялся, а тёмный, снегом лишь самую малость высветленный потолок так высок был, так просторен...

Нету радости, и очнулся ли, когда глядит, к самому лицу его приблизившись, бессмысленными глазами прорва на него, и от запаха немилосердного изо рта её в тошноту тянет, закрыть глаза скорей, — она... Зачем она глядит, что ей надо от него? Он не сам, он разве знал, и зачем она глядит так?

— А-га, проглянул!..

Глаза сморгнули, машинное лицо отодвинулось, и за ней, где-то далеко, он увидел соседа.

— Ё-моё, а мы думали — всё...

Кранты, думаю. Старикан, а еле допёр. — Слова тоже доносились как-то издали и не то чтоб непонятны были — невнятные. — Накопил костей. Не, дед, правильно — живи!..

Слова ничего не значили, кроме одного: его ненависти к соседу. Не значило ничего, что это сестра тупо смотрит на него, спонку втянула... и при чём тут Машка, когда глядит отовсюду несмежаемым оком тьма. Запредельная глядит, им не внятная, а предел — он вот он, рядом, а они слышать о нём ничего не хотят, разлобанились, жизнь им подавай, с тяжёлым чтоб задом. По-ихнему чтоб. Дураки.

Он вроде б не думал, словами он не мог, не хотел думать. Они были тяжелы, прямо-таки неподъёмны и как-то перестали нести смысл, им даденный кем-то. Просто смотрел, а потом закрыл глаза. Тьма подступала, но в её беспросветности почему-то выделялся яркий знойный день со стоячей пеленой пыли и дыма вполнеба, из-под пилотки течёт, ест натёртую скаткой шею, глаза слепит водяной перекаточной бронёю какой-то большой реки, а внизу, у самой воды, сидит рядом с кулижкой камыша младший сын, по пояс растелешенный, уже заметно добреющий телом, и рыбачит — издали видно, что сын, Борис батькович... Открытый на две версты подход к реке весь забит, завален трупами наступавших и раздутыми тушами быков, боеприпасы подвозивших и плавсредства, негде ступить и дышать

нечем — к воде бы, до Дону! Ему что, рыбачит, на отпуск как-то звал к себе, раздобрился; а у них в одном из трёх ящиков патронных, последних, с маркировкой честь по чести — подковочные гвозди, стрелять сучьё надо, вредителей!

— Может, мать-перемать, это... на кровать его?

Это здесь, говорят — сами не знают чего... Пусть. А им бы до воды, пока самолётов нету, на ту бы сторону... какая сука, узнать бы?! Шли с братками, думали: какая сука? Узнай поди. Людей узнай. Не на шутку бастовать решили, коменданта вызвали. Ну, сам дурак, вылез: работаем, мол, как лошади, а еда — одна вода. Ваттер, мол... О-о, ваттер?! И по строю, миску суёт: ваттер?! шлехт? Никак нет, гут. Одного, другого, третьего, десятого — у всех «гут». Хорошо бы, казаченьки, в гости Сталина позвать... Вспомнил ту баланду, воды — и той в карцере не давали. И почему окошки так высоко везде... моду взяли, гадьё! Что в областной, что там. В Швейцарии той же. По Рейну этому, в опорках на босу ногу, а лёд хреновый. Как дошли, сами не знают. В стружьях весь Николай, зверем пахнет, хозяйская овчарка за человека не признавала, как увидит Барина — шерсть подымает. А тюрюга частная, хозяин-пузан, окошки эти высокие и в матрацах пробка кусочками... не гляди, что Швейцария, не разоспишься. Сапожничали, отъелись, а вот была

Италия, не была — ничего не осталось, не помнит, убей Бог. Лишь как голодом сидели в трюме, и замедленно, гулко била волна в борт, как хорошей кувалдой, и валяло с боку на бок с размахом, так себе пароходик был. Еле вылезли в Александрии. А в миссии сразу к этим в зубы, к дознавателям; но там по-людски обошлись, считай, не больно дознавались. Нет, не сказать. В охрану определили, по койке с тумбочкой, как в раю, а вот пирамиды египтянские эти так и не поглядели. А хотелось. Вот она где, жара, как только люди живут, умудряются... а что тебе люди? Везде они, везде одно и то ж, схарчат и в зубах не ковырнут. Глинобитный зной плывёт, першит в горле, во все просачивается поры, все ослабляя скрепы в тебе... люди? Пусть.

Это всё стороной плывёт, само собой, пересверкивая в панцире далёкой-далёкой реки, в зарницах видений, еле брезжущих, а то освещающих разом что-то невыразимо знакомое, на которое ни разглядеть, ни узнать толком нет времени, нет желания... всё равно всё своё, и ничего в нём ни понять, ни объяснить. Всё своё, ничего нет чужого.

Лишь эта тьма чужая; и где-то рядом она всегда, за ближним пределом, ковырни в ребячьей дурости побелку — проступит неживым, глянет... В ней даже и злобы-то вроде как нет, в нелюдской, незачем, только б мешала: в ней лишь сила, злобу людскую подпирающая, накачивающая, а

уж та сама... Уж мы сами, нас просить не надо. Его спрашивают? Да, что-то говорят, а тьма накачивается, сдавливая неживым своим, хваткой своей, из какой уж не вырваться, он теперь это знает.

— Я сам, сам...

Он говорит это, пытается сказать или, может, лишь думает так, потому что с ним что-то делают, а ему страшно. Ему домой надо, уж хватит бы... домой — это закрыть глаза или открыть? Они закрыты у него, глаза-то?

Он не знает, немалое делает усилие, и глаза вроде как открываются. Открылись, да; но не сразу видит сидящего возле него человека — а тот растёгивает на его голой руке матерчатую накладку с грушей, какой накачивал, кивает ему, на миг успокоительно прикрывает за поблёскивающими очками глаза, рядом кто-то ещё стоит, говорят о нём... очёчки! Тот, в очёчках какой был, в бурках, — Иванов фамилия! Или нет, погоди... Похожее что-то, и очки с этими схожи. Фельдшер новый, молодой совсем, но и его очёчкам он не верит, этим вроде как понимающим глазам, успокаивающим: мол, всё в порядке... знаем мы ваши порядки. Не верил всем другим никогда, их блеску гнущему-выгнутому, обманному. В отсветах мнимых этих, в отраженьях, там мелькающих, что-то зыбкое всегда было и есть, неверное... может, они и видят так?

Фельдшер, поджав губы, делает ему в ту же руку укол, руку

ломит, а он глядит в его стёкла, видит в них оконную раму, игрушечную, необычайно чёткую, только вогнутую и с чистыми будто занавесками, стол в углу с приёмником, на какое-то мгновение себя там вроде — неужель так и видят? Не спросишь. Да разве они скажут, образованные. У них там сроду своё что-то, за стёклами скрываемое, не сказать чтоб враждебное, но и хорошего мало, лишний раз не заговоришь... ну, когда как. Иной в душу влезет, гад. Тот, в бурках: куда вежливый, языком как по писаному, молодняк за ним так и вился. И Машка, дурёха. А сильничал не один, с ним приезжих двое, что ль, да нехорошо как-то. Машка хоть еле тогда ворочала языком, а сказала, вспомнила. Считаю, напоследок, потом только песни от неё. Иванов или вроде того, где-то слышал...

В очках, а неразумные, ясно подумал он, опять закрывая глаза; от укола, может, но как-то прояснило. Мы дураки, а они ещё дурее. Взялись вон опять переделывать, кричат... нет, добру не быть. Сами замороченные и других морочат, стравливают. Не быть. Ни жить не дадут, ни умереть спокойно.

Он подумал об этом как-то так, мимоходом... умереть? Стало быть, так. Укол какой-то хороший был, тягостей в теле, тяжести в голове поубавил, расслабил — он давно лежит-то? Не помнит. Что-то, видно, случилось, раз сосед тут ошивается, дел ему мало...

наплевать побольше, пусть. Ушли они или тут ещё? Тут, пусторечат.

Стало быть, так, не он первый. Да уж так, кто их штабелевал, тот знает. Чурки эти. Голова к голове не моги, валетом надо, иначе завалится, не дай Бог. По углам, само собой, в связку. Зимой ещё туда-сюда, а как лето... Ну, летом всегда легче, лета ждёшь. Лето — вот оно.

И зачем это всё, спросить, за каким?

Кто-то знает. Земля не помнит, забыла, где овины стояли — там речушка в кустах путается; сам он всё позабыл, скоро совсем, может, забудет чепуховину всякую, как под городком военным с одной столкнулся, ночь парная, Хохляндия, голяком купались с ней... Губы жадные — ох, жадюга. В логу как таился от Оберушника, чёрт на него не ишачил, на двухжильного, — а ложок прогрет был и доверху полон травой, покоем, сварливым брюзжаньем шмелей и залётной пчелы, с родничком сочившимся, сделай запрудку — набезит. И хоть в устье, совсем недалёком, в бирючьи заросли крушины сбегал он, в смертный от тесноты осинник, где волки, бывало, и летом только что не корогодились, — но вот никогда, ни в каком другом на свете месте не знал он себя в такой безопасности, земляничку недоспелую родимую выбирая из травы, ни на что не оглядываясь... нигде, а хоть раз потом сходил туда? Рядом сенокосил раз, а так и не зашёл...

Забудет; но кто-то всё это читает за ним, ведаёт? Всё, даже искорку малую самую в броне той перекаточной речки, безголосье зарниц, стукоток состава, какой прошёл давно, а звук всё толкается в небо, в даль первоосеннюю, только-только начавшую набирать прозрачности, ещё не просквозило холодком её? Ведаёт и до поры лишь до времени держит про запас великий свой, где всё есть и ничего нету забытого, ведь некуда ж ему деваться, прожитому... не в прорву ж, не ей же одной в глотку всё?!

Туда, а ты как думал. Не ты бы — может, оно и по-другому бы всё... а теперь туда. Теперь всё туда. Оно вон валится опять всё — к одному концу...

Он не сразу и с каким-то трудом понял несуразность того, что подумалось вдруг, помстилось ли ему в густеющей опять вокруг него мгле... если б не ты? Ну, ты ли, не ты, а всё одно: коли тут следа его нет, разуменья, то и там не жди... всё едино.

Да и мать-то с тобою — жри! Кого другого пугай, а я не мальчик, не нанимался... я всяко видал. Мне что есть там, наверху, что нет. Пугать она, сука, надумала — жизнь, называется... Я сам по себе! Я по себе сам, без вас сдохну. Мне помощников не надо. Сам как-нибудь, как ни будет. Забудет, а жил, жить буду, побуду, быть буду...

Николай, браток, лыбится с чего-то и протягивает ему вроде как подаяние, в золотую обёрнутое

бумагу, вроде как в кульке; и говорит — оттуда — что-то ему, кивает, усмешается, но ничего не понять. А он вместо того, чтоб отказаться, ни за что не принимать это самое подаянье, лишь словом перечит Баринову, упрямо повторяет: «Не согласен!..» С чем не согласен — ему самому не вполне понятно; и со смутной хоть душой, но берёт золотой тяжёлый кулек, и они разговаривают долго-долго, как братки, как в том лесу, где день коротали... Усни попробуй, когда лес просеками разбит по-немецки на ровнёхонькие квадраты, с любой стороны могут застигнуть — хана тогда, за второй не простят побег. «Слышь... бежим, а?» — говорит он Николаю, но тот всё убеждает его в чём-то, не слышит вовсе. А бежать куда и, главное, с чем? Кулёк-то, он догадываться стал, пустой. Кулёк полон тяжкой пустотой.

V

— Его... Этого, — сказал он и глазами показал на соседа. — Не надо.

И отвернулся к спинке дивана, больше он ничего сделать не мог. И отчётливо услышал немного погодя, как жена ему там, на кухоньке, сказала: «Ты уж ладно, не заходи... сам видишь, никак он тебя». — «Да мне-то», — сказал сосед и матюкнулся; но и по голосу было понятно, что он обижен.

Вот так теперь... жри теперь, не больно испугала. Давно б так надо. А то веры они захотели,

старух напустили — примериться... С верой любой дурак сделает, горы сдуру свернёт... вы без неё попробуйте. Как мы попробуйте, потом суд наводите, заседатели. На завалинках заседать.

Примеряйтесь. Доску ищите, дефицит. Закопаете там, нет — по мне, хоть на свалку. Машку как?.. В город Машку: зять этот — пьянь, конечно, а не злой, кусок найдёт. А те сами по себе, сыновья, ломти отрезанные; вот пусть Машку и устроят. Старшой — ладно, а Борька-то, сучий сын... для себя ж растил!

По вере вашей воздастся вам.

Из конторских кто-то, развелось мудрецов — сажать не пересажать. Мудрят в холодке, образованные. Очёчки от разговоров на нос сползают — поправят и дальше, а баб под шпалы. А то под цабан, не больно стеснялись.

Мухлюет вера, думает он, преданно глядя на безымянного за давностью лет полкового комиссара, чёрт их считал... Уцепился за газету, как дитё за подол, на успехи у соседей упирает, всё-то у нас соседи впереди, и на категорическую необходимость успеха здесь вот, на заплетённом проволокой, пристрелянном до каждого валуна, проплаканном последней замёрзшей слезой предполье...

Если так вот верят они, вожди все с командирами, то ему-то, мелкой сошке, вовсе не обязательно, может, верить так уж, стараться... за каким, до проволоки добежать? Там без того навалено, толку-то. И зачем верой,

думает он, когда силой можно, умом, снаряды подвези только? Под Черниговом вон склады ими забиты, он-то знает.

Темнит эта самодельная их вера, боязливую ревность в себе таящая, темноликие угрозы; что-то слишком уж кричит, надрывается — от неуверенности, не он один видит. Но дальше не знает, что и думать: серьёзность мешает, с какой их раз за разом посылают туда, к проволоке финской, кладут. Всерьёз всё, вот беда. Браткина вера мешает, как грели друг дружку под кустом, под ёлкой, выручали, как их в банюшках бабы прятали, лишенцев-окруженцев, встречали картошкой, картошкой провожали — куда всё делось в людях? На добровольцев с завистью глядели, выходявших из концлагерного строя к начальственно кургузому агитатору, он же и переводчик, а немец тут же в шеренгу тех составлял, переимчивый: «Ви что мне стал, как бичок нассал?!» В какую-то русскую армию набирали... а мы что, китайская, что ль? В плену хоть, а славяне. Так и не пошли, себе дорожке. Одного сюда вернули опять, рассказывал: тоже не убечь, там не дураки. Правда, отъелся малость. Вот и вся вера их была, что на своих... были свои. Люди были — а теперь?

Ну, людей равнять — дело, конечно, такое... Не поравняешь всех. Тут ещё как сам.

Получась пробиты медленные часы. Во всём доме, кажется, никого, тишина, как пыль, скопилась

в углах. И в теле — онемением, опасным молчанием, какое заползало, занимало понемногу это вот брошенное его, показалось сейчас, забываемое то и дело им самим тело... А что — сам? Он сам теперь по себе. Он про себя сам знает, и пусть они идут все... Но тишины сколько, молчания, и часы не время, а молчанье отбивают, отделяют протяжёнными массивами и препроваживают куда-то. Назад куда-то или, может, в пыль обращая, оседающую на всё, на всё...

Поторопился он зря: рука его — левая? — лишь дрогнула и осталась лежать — там, на одеяле. Он за ней, этой, уж замечал, и нога тоже, как нету ноги. Рука другая послушалась, взлезла на спинку дивана, и он стал ею искать на ощупь вилку, лапата — вот она, вилка. В розетку теперь, всегда тут была. Старый приёмник был у них за репродуктор, на одной давно волне заржавел, на областной, — хоть это... Вчера фельдшер включал, теперь самому как-то.

Еле-то нашёл розетку.

После первого треска и шумов появилась, наплыла музыка — необычная в слишком долгом молчании дома, какая-то поначалу даже неуместная, и он с облегчением уронил руку, как, скажи, сам, без помощи всякой дошёл до подоконной скамьи своей. И отдышал, прикрыв глаза и слушая, как позванивали где-то за главными её голосами далёкие колокольчики, перезванивались и звали...

Он спал ли, просто ли забылся под эти леденистые и лёгкие, отзывные на печаль колокольцы — как забормотали возбуждённые голоса, вытолкав грубо, взашей забытьё его отсюда, его, может, единственный за все эти многие дни покой... вот зачем? Жалко что-то стало, себя и всех. И ждать стал, слыша, но не слушая, как они там перебивают друг дружку, торопятся каждый своё сказать, взахлёб; надеялся почему-то, что после них опять это дадут, с колокольцами, или там ещё какую.

Пережидал сварливую эту нищету жизни, в минутной жалости своей, в её тягости, хотел думать... о чём думать? Без него надумали, решили всё. Может, кто и ведаёт обо всё, знает — да ему не скажет, так оно. Как образованные эти, не скажут — хоть верь ты, хоть не верь. Да и устал он за все-то эти дни. Толкутся, мешают. Дочь приехала, поголосила, дура, и опять всё на соседку бросила. Старухи эти. Фельдшер приходил, не один, глядели. Каждый день приходит, с уколами, а может по два раза на дню, не считал, некогда. Что-то додумать было надо, важное, а не давалось. Все были времена его заняты, не успеваешь одно вспомнить, как другое влезает, теснит... каждое своего требует, некогда, устал он.

Ивантер? Постой, они там фамилию называли... вот она, фамилия. Она самая, как же забыл-то он? Эту самую... Перестройку эту всё нахваливает, с утра поране

кукарекает — он, Ивантер. Вот оно как, нашлась фамилия... Сын, гляди, а то внук?

Нашлась. Но радости оттого, что вспомнил, не было. Ему теперь бы сказать о том, вслух — а кому? Не соседу ж: глуп, что он поймёт? Не Машке. А надо бы.

А некому... смоятся все, некому слова сказать. Обида, в который раз обида старческой цепкой лапкой не сразу, но нашла его горло. Или сердце, сдавила, рости стала. Но какая-то странная, на всегдашнюю непохожа — ни утоленья ему никакого не дающая, пусть недолгого, ни свободы, где он сам по себе. Зашлась обида, онемела — и не знала, что с собой делать дальше, не было ей освобожденья...

Он постонал, но ничто ему не ответило, никто. Тогда он попытался повернуться, набок хотя бы; весь как мог напрягся, рукой спинку дивана отталкивая, закинулся, — а радио визжало и гремело. Уходящим сознанием он видел, как в очёчках, далёкую раму, очерченную чётко вокруг наружного дневного света, перевёрнутую, белилами крашенный пол, хотел опять им сказать, что не надо, не согласен... Но фельдшер покачал головой и ушёл.

Чёрный мешок надо, втолковывает он бабёшке этой, дурочке, — чёрный брат! А то сама схоронилась, а мешок видать. Ночь не сказать чтоб тёмная, и вишарник тот редкий... как наш ситчик рендешкий, говно цедить, — видать

же! И съёт ей в мешок газету, в ней указ от седьмого, восьмого месяца, тридцать второго об охране соцсобственности, чтоб знала, а то прямо как дети. Ну, что вот мне с тобой делать, говорит он жене — а это она, уж и старая, с высокими грудями, в «стригуны» колосков подалась, возьми вот её за рупь двадцать; прямо ума не приложу... ладно, работай. Только гляди мне, говорит он ещё — как она говорила, кошке на лапку наступив, не управлялась уже с ногами: не ходи босиком!.. Сама знаешь, время.

Он доволен, что так обошлось, толкует: вот немец... чужого, а не выдал, вот они и живут, немцы. А что уж, как — разбирайтесь сами. А я вот вам загну мозги, умники: зло в мире или весь мир изначально во зле? Небось подумаете. А то разлобанились они.

У него уж ни обиды никакой к ним, ничего, у него усмешка: одни вы, что ль, шариками крутите, думаете? Народ-то вы спросили? Не-ет, не одни вы, свистуны. У начальника дистанции хоть спросите, и он вам скажет: да, ровесник революции, ветеран войны и труда. Красномордый, рюмку двумя руками держит, дрожат ручки, — за победителей. Все наши вентиляторы залежалые на складах, братки-славяне, все часы на батарейках настенные, дурацкие... кончились батарейки — и живи без времени. А нынче вон не пришли даже, открытку прислали — что мы, не понимаем?

Но вроде как он сам начальник

тоже, в своём-то. У него какое-то не совсем понятное хозяйство большое, людей под ним прорва, дел мудрёных, где он безраздельный всему хозяин, не то что эти... Неукоснительно чтоб всё, главное дело — порядок. Карандашом постукивает, выговаривает, потом в обход идёт: и это, вы говорите, порядок? А это?! Он черниговские узнаёт казармы, вон и черепица на одной... был непорядок, точно. Ещё инспектор указал, но всё руки не доходили. Он голову поднимает, глядит: ну точно, опять понаделали — да много... Ласточкины гнёзда одно прямо к одному под застрехой казармы налеплены, общежитье себе устроили, мало города им. Протягивает руку назад, кто-то вкладывает опять ему тяжёлый шест; и оглядывается на всякий случай — нету ротного? А то всамделе пристрелит, хватит у дурака. Руки он распустил, жалостливый... ему что, хозчасть не на нём. Пусть спасибо скажет, что на собранье не вынес, на губу-то. Поднять надо, нацелиться, а шест тяжёл, сердце тяжёлое, а — надо; и что-то в нём срывается наконец, кричит в ярости назад: вы какой мне дали?! Под монастырь меня?! А вы спросили, я согласен?!

Еле оно ворочается, сердце, и кулёк этот странно тяжелит руку, золотой, боязнь одолевает уж давно: что в нём такое, что руку оттягивает так... наган? Это с полбебды б ещё, да и за каким ему наган? Что-то темней, тяжелее

пустоты там — пыль молчания, может, времени; и что с ним, подаяньем, делать, куда с ним, бездомному, — не знает. К браткам бы, но их, знает он, нигде нету: кто дымом взошёл, кого рассосали болота. Николай, того хуже, в людях пропал. Нигде не найти, всё смолело время — пыль, одна пыль... А ему куда?

В ложок ему. В тот ложок, вот куда надо... колокольцы где. Прийти, рассеять пыль там эту, примет. Избавиться, а весной новой снесёт вода — в набухшие осинники, низины чернозёмные, в корни молодой набьёт травы. Всё вешняя смоеет, ей не привыкать.

VI

Вокруг него стояли, когда он что-то сказал.

— Что, говоришь? — нагнулись к нему.

— Птицам... — выговорил он с трудом. — Покроши...

— А детям? Детям — что?..

Он поглядел и ничего не сказал. Его дочь, малоздоровая плаксивая баба, взголоснула было и тут же под взглядами смолкла.

«Дождёшься от него...» — пробурчала себе под нос стоящая позади старуха, из двоюродных, и сосед крикнул, вышел. У двора стояли своих мужиков двое, курили.

— Что там? — спросил один и по полевой привычке подложил окурок под подошву себе, растёр.

— Кончается.

— Н-да...

Уже на лето глядело, и шумели вовсю по окрестностям листвою майские светлые перелески, выгнало траву. Даже старые недоверчивые деревья раскрылись давно в полный лист, яблоневым, черемуховым цветом огрузили немудрёные поселковые сады, о себе оповещая в самых порой неожиданных местах, накатались дороги, и посевную одолели. Свалили, косу впопугу отбивать.

Покурить толком не успел, из сенцев выглянула жена. Только выглянула, торопливыми глазами бессмысленными нашла его и не то сказала что, не то охнула — бабы...

Старик метаться начал. Перекачивал голову, не открывая глаз, рука дёргалась, вслепую щупала одеяло, шарила. И потом сказал неожиданно внятным, полным голосом:

— Не согласен...

Переглядывались, из задних кто-то переспросил: «Что он говорит-то?» — «Да что... не согласен, говорит». — «А-а...» — понимающе закивали там. А он повторил опять — рвущимся уже голосом, резким:

— И-не... согласен!

Заплакала тихо дочь, всё вспомнив, хлопая, бабы тоже; закрестились, глядя кто покорно, кто со страхом, как он противоречит кому-то — тому, чему противоречить нельзя, грех... что уж так-то, иль не настрастился? А старуха поджала губы и глядела почти враждебно.

С полчаса, может, прошло, и ещё два ли, три раза он повторил, выговорил это своё, всё тише, безнадежнее, упорней. И уж запертый, видно, молчанием, лишь кадык в седом истощавшем волосе ходил, на минуту открыл глаза, суровыми ставшие. Сумел перевести их, и Николаю, тянувшему за спины шею, показалось, что они встретились взглядами.

Он открыл глаза. Были чьи-то лица, дочери совсем расплывшееся лицо, расквасилась; а сзади них, баб, кто-то ещё стоял, глядел. Воздух сгущался, затвердевал, и ему сразу понятно стало: Колгота, он. Пришёл.

В старых саях под овчиной лежал в апрельскую, со свежа, вечернюю зарю — истончавшую, немисливо долгую, не знаешь, идёт оно, время, или нет. Последний грачинный крик давно истаял в нём, поэтому время не могло идти, его просто не стало — когда подошёл немец и молча, возвысаясь весь, наступил на грудь сапогом.

Гудела средь тишины машина — это грузовик подавали под гроб, задом. Тявкала, влаивала тонко где-то во дворе собака. На неё прикрикнули и раз, и другой, но она, труся отчаянно, забившись под какие-то поломанные давно ясли, всё не могла унять себя, скулила.

Вынесли, поставили на колесногие табуретки, и бабы, дождавшись, заголосили опять.

И потеснились, давая дорогу мужчине с недовольным взглядом, пропустили Машку тоже, тащившуюся следом.

У мужиков заминка возникла: везти ли на машине, это почему-то с некоторых пор как бы даже и почётней считаться стало, или на руках отнести. «Да хрена ль тут! — горячился Николай, поворачиваясь то к одному, то к другому потным лицом (ощутимо парило с неба). — Ить же рядом! Донесём, мужики, — а она пускай впереди, х... с ней, едет...» — «Ты аль забыл, где?! — одёрнула его жена безнадёжно. — Ты хоть тут-то не пой своё...»

А пока мужики спорили и потом к машине пошли с шофёром говорить, во дворе и у дома собрались все, кто хотел повидать напоследок или проводить. Один из деповских — и ведь не молодой — улучил момент, когда бабы примолкли, и стал было говорить, кивками на каждом слове своём с собой соглашаясь, но его остановили: до могилы, мол... Подошли конторские — она, колхозная, была за углом. У штакетника, как-то наособицу, стояла невестка Махоткиных с детским на руках конвертом, перевязанным голубой лентой — мальчик; губы у неё, казалось, ещё покусаны были, припухлы, а сама она

стала самоуверенной после роддома, категоричной, прямо хозяйка жизни. Свекровка, говорили, извелась уж вся.

Внимательней, чем обычно, смотрела Машка — на гроб, деспотическое при дневном свете лицо смерти в нём; и на постные лица жалеющих себя людей, на разбортованную машину за ними, застеленную выдавшим виды красным ковром, с привезёнными из города венками. Даже покивала, когда деповский говорил; а когда стали разбирать венки и мужики, приладившись, подняли покойного на полотенцах, — неожиданно для всех грубым, бубнящим своим голосом проговорила обиженно:

— Придёт, наследит... притирай за ним. — И закривилась без слёз, распылила рот: — Жалка-а...

А в ночь началась первая в году настоящая гроза — сильная и свежая. Так грохотало, так передвигалось там, переставлялось что-то и вершилось, будто решило начать всё заново. Но утром ничего не переменилось, лишь по-особенному как-то горчило на подворьях черёмухой, уже отцветающей, и не давал нигде забыть о себе на пустой средь палисадников улице росный запах сирени — еле ощутимый, несуетный, всегда будто поодаль стоящий.